

ВЛАДИМИР СКИФ

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Везло мне в моей жизни по-всякому. Везло на хороших людей и на случайные встречи. И, конечно же, большим везением, а если говорить прямо – то великим счастьем я считаю свою женитьбу на Евгении Молчановой, младшей дочери известного иркутского поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Когда знакомился с ней, конечно же, не догадывался, что она – дочь писателя, и что у неё есть родная сестра Светлана Ивановна, которая замужем за самим Валентином Распутиным! Да и поначалу эта родственность никак не повлияла на наши отношения. Более того, мы ничего и никого не видели вокруг, а стремительно, сломя голову, летели в водоворот наших страстей, встреч и расставаний, трепетных свиданий и желания никогда не расставаться. Только потом уже до меня дошло, что у нас с Валентином Григорьевичем жёны – родные сёстры и что мы стали родственниками, то есть свояками.

И вот как неотъемлемая часть нашей с Евгенией Ивановной жизни и любви к нам ворвался Байкал. Валентин, Валя, а по-родственному – Валюша – так все мы называем его в нашей большой семье – в начале семидесятых купил дачу на Байкале. Это оказался небольшой, но крепкий, из толстых лиственничных брёвен дом (их всего восемь в стене – и уже восьмое бревно идёт под крышу) с летней кухней и стайкой (через несколько лет я эту стайку обобью изнутри саночной рейкой, и получится замечательная деревенская баня). А пока Распутины вчетвером: Валя, Светлана, семилетний Серёжа и маленькая Маруся уезжают летом на Байкал на желанную дачу.

И вот именно здесь, то во флигельке, то в основном доме Валентин Григорьевич пишет свои великие повести “Прощание с Матёрой”, “Живи и помни”, рассказы “Наташа”, “Не могу!”, “Что передать вороне?” Приведу небольшой отрывок из “Вороны”, где В. Г. описывает свой, ставший ему родным байкальский домик, его окрестности, Байкал и неразделимое с Байкалом небо:

“Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несёт прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее – верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не пришло мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была – как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, всё оставалось на месте – и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалёку от дома, и большой

сухогруз напротив на Байкале со склонённой к нему стрелой замершего порталного крана, и сидящая на брёвнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нём ещё вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белёсо-задымленному, вяло опушённом небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день ещё не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределённо и тягостно...»

Наверно, немного великих чудес на свете. Но то, что Валюша и Асланочка (так мы с лёгкой руки нашей маленькой дочери Даши – стали называть Светлану Ивановну) в 1982 году подарили нам свой домик на Байкале – это, действительно, великое чудо! Хотя до оформления дарственной мы и так часто бывали у них в гостях со своими детьми. Старшей дочери Кате в 1977 году было десять лет, а дочь Даша только-только родилась. Валя к тому времени написал свои выдающиеся, вызвавшие интерес во всём мире, произведения, а в 1978 году получил Государственную премию СССР за повесть «Живи и помни». Ему платили хорошие гонорары, и Распутины два раза отдыхали за границей: один раз – в Болгарии, на Золотых песках, другой раз – в Венгрии, на озере Балатон, а потом купили дачу поближе к Иркутску – на 28-м километре Байкальского тракта, на берегу Иркутского водохранилища.

А пока мы в отсутствие Распутиных с радостью спешили на Байкал. Нас ждали грядки, которые надо было прополоть и полить, ждал чистейший, хрустальный родник, бьющий прямо из горы в распутинский двор. Издалека призывно манил великолепный байкальский пляж, туннели, в которых наверняка жили души русских каменотёсов, ждал лес на горе, в котором водились белые грибы и чёрные грузди. А какой на горе нас ожидал старинный французский маяк! Его железное нутро скрывало внутри себя волшебную винтовую лестницу, а наверху нас ждала круглая площадка с крепким стальным ограждением, куда мы вместе с детьми забирались и обзоревали наши светонесные байкальские окрестности.

В то время, когда домик был ещё распутинский, мы с Валею по весне вдвоём выезжали на дачу сажать картошку, править похилившийся забор, вкапывать новые столбы, менять прожилыны на пряслах, вскапывать поле, пилить дрова, в общем, делать всё то, что и обязан делать деревенский мужик: содержать в порядке своё пусть и невеликое подворье.

Разговорить Валею было всегда не просто, да я и не старался нарушать его молчание или докучать своими расспросами. Работаем, молчим, обедаем – молчим, изредка перекинемся двумя-тремя словами и опять молчок. Ну, а если уж сам разговорится, то успевай слушать да мотать на ус. Однажды он довольно подробно стал рассказывать о своей родословной.

– Как-то, – начал вдруг Валя в час послеобеденного отдыха, – решил я отыскать своих прародителей – дедушек, бабушек, прабабушек. Узнал я, что в моей родове намешано множество разных кровей: есть польская кровь и цыганская, есть эвенкийская, возможно – тунгусская и, конечно же, – русская кровь.

Рассказывает он про свою родословную, а я невольно думаю, что это всё не случайно в его судьбе, что слияние разных кровей, их столкновение и взаимообогащение дали такой невероятный всплеск таланта, такой удивительный полёт мыслей и чувств, такое понимание происходящего на земле и в душах человеческих, что становится то сладко, то знобко от поистине гениальных страниц его повестей и рассказов.

– Моя прапрабабка, – продолжает Валентин, – цыганка была взбалмошной, весёлой и талантливой. Она пела в кабаках, и там её высмотрел ссыльный польский студент. Он вечерами тихо сидел у столика с нехитрым ужином и наблюдал за красавицей-цыганкой. Сидел, страдал и дострадался до того, что влюбился в неё не на шутку и предложил красавице руку и сердце. В том, что она согласилась выйти за него замуж, ничего не было странного. Студент был молодым, красивым, мужественным и образованным. Произошло то, что произошло: они поженились, буйная цыганка нарожала ему кучу детей и сгинула из его жизни с проезжим купцом навсегда. Это была моя прапрабабка, а польский студент оказался моим прапрадедом. Он поднял детей, воспитал их, дал образование, вывел, как говорится, в люди. Одна из дочерей это-

го странного союза впоследствии станет моей прабабушкой. Да, в моей коренной сибирской родове, в разных браках, как со стороны отца, так и со стороны матери были цыгане, поляки, эвенки и даже тунгусы, но основной стержень всегда составляли русские.

Сидеть бы так бесконечно и слушать Валу, но мы идём ставить в заборе последнее прясло. А за вечерним чаем он поведал мне ещё одну историю, которая была посерьёзней первых двух. Зашёл разговор о читательских письмах, о том, как читают его произведения и что пишут многочисленные поклонники нашумевших в Отечестве повестей и рассказов уже известного по большому счёту писателя Валентина Распутина.

В то время некоторые его произведения уже стали экранизировать. Самым первым в 1969 году вышел в прокат короткометражный фильм Динары Асановой “Рудольфо” с Юрием Визбором (Рудольф) и юной девочкой Еленой Наумкиной (Ио) в главных ролях. В 1978 году появился на экране блистательный фильм Евгения Ташкова “Уроки французского”, а в 1979 году кинорежиссёр Лариса Шепитко подготовила к съёмкам сценарий фильма по знаменитой повести “Прощание с Матёрой” с великолепной актрисой Стефанией Станютой в главной роли. К великому сожалению, случилось непоправимое: 2 июля 1979 года на 117-м км Ленинградского шоссе киносъёмочная “Волга” на пути к городу Калинин угодилась в мчавшийся навстречу грузовик. Погибли Лариса Шепитко, оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и их ассистенты. Завершил работу над фильмом муж Ларисы Элем Климов, назвавший картину “Прощание” (1982).

Бурятский кинорежиссёр Александр Итыгилов снял в 1980 году фильм “Сколько стоит медвежья шкура”, в который были приглашены Стасис Петронайтис, Борислав Брондуков и другие известные актёры. Кинорежиссёр Ирина Поплавская в 1981 году показала фильм, поставленный по трогательному и глубокому рассказу “Василий и Василиса”, где собралось целое созвездие лучших русских актёров: Ольга Остроумова и Михаил Кононов, Наталья Бондарчук и Майя Булгакова, Андрей Ростоцкий и Татьяна Догилева.

За чаем я спросил у Вали:

— Я знаю, что тебе пишут очень много доброжелательных и восхищённых писем. А есть ли письма, в которых тебя ругают?

— Случается, — коротко ответил он. — Однажды пришло просто разгромное письмо. Это было после публикации повести “Живи и помни”. В нём автор разносил меня в пух и прах, грозился обратиться с письмом в соответствующие органы за подрыв советской идеологии и с просьбой, чтобы меня наказали за разрушительную работу против СССР.

— И что? Ты ответил? — коротко спросил я.

— А зачем? — Валя замолчал.

— А подпись? Подпись была? И кто автор письма, он указал — кто он?

— Некто Иванов Николай Петрович, фронтовик, орденосец.

— Тебе, наверно, стало худо от этого письма...

— Было, конечно, очень неприятно. Но потом я привык. Такие письма теперь для меня — не редкость.

— Да, странно.

— Ничего странного. Мне-то понятно, кто водил рукой того же Иванова.

— А где это письмо?

— Я выбросил. Я всё выбрасываю.

Мужики в посёлке Порт “Байкал” с великим уважением относились к Вале. Некоторые изредка, стесняясь, заходили к нему занять три рубля на бутылку, и Валя никому из них не отказывал. Как-то раз в моём присутствии постучали в дверь. Я готовил ужин, а Валя сосредоточенно сидел за рабочим столом.

— Войдите! — глуховато сказал он.

Тихо-тихо, один за другим вошли три деревенских мужика и, как будто споткнувшись о взгляд Распутина, остановились у порога, но Валя приветливо воскликнул:

— Проходите, что ж вы!?! — И поднялся навстречу мужикам.

— Да мы это... посмотреть на вас...

Валя смущённо засмеялся:

— Я же не афиша, проходите!

Один мужик двинулся в комнату, где стоял стол с рукописью, а второй сдёрнул с ног сапоги и стал разматывать длинные белые портянки. Тут и я не выдержал:

— Господи! Зачем вы ругались?

Мужик в не до конца развёрнутых портянках шагнул в комнату, портянки потянулись за ним. Третий толкнул его в спину и засмеялся:

– Ну, ты! Рыбный расстегай!

И тут мы все громко расхохотались.

Мужики подошли к столу и стали смотреть в Валину рабочую тетрадь. Один, присмотревшись, вдруг произнёс:

– А это что за линии? Зачем вы их чертите?

Другой, видимо с более острым зрением, тоже наклонившись, почти вскричал:

– Дурень! Это же строчки.

– Какие строчки?

И все они сгрудились у стола, начали охать и удивляться менее чем бисерному почерку Распутина, который можно рассматривать разве что через увеличительное стекло. Я вспомнил немецкий журнал “Freie Welt” (“Свободный мир”), в котором был помещён фотоочерк о Распутине “Валентин Распутин – сибирский характер” (№ 2, 1978), где среди десятка фотографий я обнаружил фото распутинской рукописи с возлежащей на ней лупой. Там, сквозь лупу, мельчайшие буквы были чуть виднее, чем в рукописи.

В конце концов, мужики, обозрев и писателя, и рукопись, удалились, унося в кармане драгоценные для них шесть рублей, которыми Валя наградил их за смелость.

Нынче не посёлок, а сам порт Байкал разрушен до основания. Уничтожен почти весь могучий байкальский флот. Часть судов распилена и в виде металлолома продана в Китай, остальная часть приватизирована частными лицами. Напротив нашего дома на погрузучастке красовались три мощнейших немецких портальных крана. Флот и портальные краны работали бесперебойно, то осуществляя северный завоз, то перевоза грузы на БАМ, то на другую сторону Байкала, в Бурятию.

Погрузучасток был заставлен железнодорожными контейнерами, завален каменным углём и лесом. Краны мы называли “гансами”, поскольку их производила знаменитая немецкая фирма “GANS”. И они почему-то очень часто работали по ночам. Я однажды сочинил короткую эпиграмму:

*В порту “Байкал” стальные краны,
Покой Распутина поправ,
С акцентом явно иностранным
Грохочут, головы задрав.*

Помню, Глеб Пакулов, спустившись с горы прямо во двор к Валентину, громко прочитал это четверостишие, выделяя особой интонацией слова “с акцентом явно иностранным” и исподтишка погрозил “гансам” кулаком.

– Да, – согласился Валя, – если они грохочут все вместе, то уж тут точно не до сна.

Зато теперь ни кранов, ни флота, ни погрузучастка – чисто. Теперь напротив нашего дома расположился завод по разливу байкальской воды. Но он тоже, как многие заводы в стране, почти не работает. У него трое хозяев, и они, построив завод, теперь воюют между собой, пытаясь достаточно прибыльное, если бы не междоусобицы, предприятие с итальянским оборудованием отобрать друг у друга.

В 1982 году, когда уже мы с женой стали полноправными хозяевами байкальского домика, Валя со своим гостем из Болгарии писателем Кириллом Мончиловым приехал на Байкал. Договорился с Глебом Пакуловым, чтобы он на своей лодке свозил их на 94-й километр Кругобайкалки за синей ягодой, голубикой. Взяли с собой и меня. У Глеба была хорошая лодка “Сарепта” с мотором “Вихрь”, на которой мы вчетвером и отправились за ягодой. У него есть рассказ “По ягоды”, посвящённый друзьям-ягодникам – писателю Альберту Гурулёву и издателю Николаю Есипёнку. И есть ещё другой рассказ – “Век живи – век люби” – про мальчика Саньку, который по незнанию набрал голубики в цинковое ведро, а взрослые, видя это и зная, что нельзя собирать ягоды в такое ведро, не подсказали Саньке заменить его – в цинке ягода очень сильно окисляется и ею можно отравиться. Это рассказ о человеческой чёрствости, о постижении взрослого мира подростком со светлой, доверчивой, незамутнённой душой, о тех первых душевных ранах, которые рубцуются, но и тогда ещё долго не заживают.

Итак, мы мчимся в лодке по Байкалу, взяв под ягоду горбовики, съестные припасы, бутылку водки, а я прихватил с собой фотоаппарат и зачем-то любимую на тот момент книгу Василия Белова “Воспитание по доктору Споку”.

Глеб ещё в лодке заявил, что за ягодой не пойдёт:

– Я ваш извозчик. Буду лодку караулить да с удочкой сидеть, может, омуля или харюзка поймаю вам на уху.

– Мы тебе выпить нальём, ты уж лучше поспи, – пошутил Валя.

– Я когда выпью, – не остался в долгу Глеб, – совершаю подвиги.

– Бросаешься на амбразуру? – усмехнулся Распутин.

– Да! Вот только все амбразуры в порту “Байкал” остались.

Приплыли на 94-й, выгрузились, запалили костерок и сели перекусить. Достали огурцы, помидоры, варёные яйца, хлеб ну и, конечно же, горячительное. Болгарин вынул из рюкзака кружок плоской, приплюснутой, как блин, колбасы, оказавшейся твёрдым болгарским сервелатом.

Наконец-то мы перекусили, попили духмяного чайку и по узкой тропе стали подниматься по распадку вверх, в глухую тайгу. Я знаю, как Валя собирает ягоду. Он, во-первых, редко пользуется совком, зато берёт ягоду двумя руками да так легко, быстро и аккуратно, что еле успеваешь следить за его движениями. И пока я набираю одну кружку, он таких ссыпал в горбовик примерно четыре. По тайге он двигается ловко, расторопно, бесшумно. Пока мы с Кириллом Мончиловым, как два медведя, в одном направлении ломимся по распадку, он уже взлетел на перевал и спустился вниз. Бродим мы часа три-четыре. Тяжелеет горбовик, но ещё не полон. Валя зовёт нас из-под высокой лиственницы, где обнаружил самое ягодное место.

– Я уже набрал свой горбовик, собирайте и вы. Тут место хорошее ещё и для привала: сухой мох, валежина удобная – можно присесть.

Мы с Кириллом минут двадцать обираем рясные кусты, но уже еле стоим и падаем на мхи. Валя разжигает костёр, разворачивает пакет со снедью, я лезу в рюкзак и всё содержимое вываливаю на таёжную траву: конфеты, хлеб, сало, свежие дачные огурцы. Вместе с едой из рюкзака выскальзывает книжка Василия Белова.

– А это что? – показывает на книгу Валя.

– Как что? Василий Белов. “Воспитание по доктору Споку”.

– Ты что же, на ягодах читать собрался?

Я смущаюсь и бормочу, что, мол, да, на привале собирался почитать.

– Кто же с книгами за ягодой ходит, чудак-человек, – шутивно ворчит Валя, заваривая смородиновым листом закипевший на костерке чай, – хотя Белову бы это понравилось. Даже в глухой сибирской тайге он воспитывает своих читателей по доктору Споку.

– Володя – лучший в вашей стране читатель. Таких во всей Болгарии не сыщешь, – добавляет Мончилов, – меня в тайге точно не читают.

– И меня тоже, – смеётся Распутин.

За ягодами мы, конечно же, ходили не один раз. И чаще всего сначала путь начинался на лодке. Ездили на лодке и с известным иркутским фольклористом Валерой Зиновьевым, и с отчаянным, могучим лесничим Виктором Николаевичем Носыревым, которому портовские мужики дали прозвище медведь-сохатый. Носырев не построил – воздвиг! – рядом с Глебом Пакуловым такой же, как и он сам, могучий дом, перевезя с нежилой кругобайкальской станции здание заброшенной начальной школы.

Как-то в середине сентября, когда мы с Валею выкопали картошку, Носырев со своей женой Натальей причалил почти у самого дачного дома и позвал нас за брусничкой. Мы охотно откликнулись, собрались, взяли горбовики, сели в лодку, и Носырев что есть духу рванул в открытое море. Буквально через полчаса нашего пути поднялся страшный ветер и начался шторм. Байкал опасен своей непредсказуемостью. Не успели мы оправиться от первых порывов шквалистого ветра, как Байкал уже раскачался, и вокруг нас заходили громадные, величиной с двухэтажный дом волны. Лодка ухнула в бездну, потом взлетела на гребень волны. На лице у Носырева не дрогнул ни один мускул. Он только заулыбался и направил лодку поперёк волны. Мы опять взлетели наверх и опять с обмирающим сердцем покатались вниз, казалось – на дно Байкала. Я потерял дар речи и молча вцепился в борт лодки, Валя тоже молчал, а Наташа закричала:

– Виктор! Ты что делаешь? Ты думай, кого везёшь! Ну-ка, прижимайся к берегу!

Носырев как будто её и не слышал, и продолжал разрезать гребни волн, то опускаясь вниз, то поднимаясь вверх по крутым водяным горам. Тут уж и Валя не выдержал:

— Витя, давай к берегу! Там, если перевернёмся, то, может, и выплывем. Носырев выбрал вдали пологое место, лихо причалил среди шумного прибоя. Мы выбрались из лодки бледные, с дрожащими от напряжения ногами и молча сели на крупные прибрежные булыги. Носырев бодро возвестил:

— Вот мы и на земле. Извините, ребята! Я вообще-то опытный штурман, так что не надо было волноваться. А теперь вперёд за брусничкой, — и он почти бегом кинулся в тайгу.

— Сумасшедший! — сказала Наталья, и мы, чуть-чуть оклемавшись, двинулись за нашим “сохатым” в лес. Байкал бушевал недолго, часов пять. За это время мы набрали отборной, спелой, тёмно-красной бруснички и без новых приключений вернулись в родную гавань.

А с Носыревым мы больше за ягодой не ездили. Неповторимое, неизгладимое впечатление у меня осталось от той поездки. Теперь ни в чью лодку не сажусь. А Виктор Иванович Носырев ведь так и погиб в Байкале. В девяностых годах, в самый разгар перестройки, его затёрло вместе с лодкой весенним, взбесившимся байкальским льдом.

Весной мы приезжаем на Байкал и копаемся то в огороде, то в доме, стараясь поскорее придать жилой вид нашему байкальскому пристанищу. Как-то в середине девяностых в начале мая я, как всегда, переехал на пароме в порт “Байкал” и направился к дому. Идти мне совсем недалеко от причала, менее километра. Подхожу к дому, вижу группу ликующих людей, разливающих по бокалам шампанское и кричащих “Ура!” Иду мимо них, чтобы открыть калитку, и вдруг меня кто-то из них спрашивает:

— Вы Распутин?

— Нет, не Распутин.

— Жалко. Нам деревенские сказали, что это его дом.

— Да, это был его дом, а теперь мой.

— А это правда, что он здесь жил и писал свои книги?

— Правда.

Они снова закричали “Ура!”

— А мы из Питера. Выпейте с нами шампанского и давайте сфотографируемся.

— Но я же не Распутин.

— А кто вы? Родственник.

— Родственник...

И снова туристы грохнули “Ура!”

В 1974 году, когда мы с Валею ещё не породнились, я впервые побывал у него в байкальском доме и был очарован Байкалом настолько, что едва вспомнил себя: кто я и что со мной?

С неба сбежал яркий весенний день. Он распахнул свои крылья над Байкалом, обнял нежным теплом посёлок, спешащих в школу детей, теплицы, первые чёрные грядки, рассаду в горшочках, улыбочивые лица людей, дорогу вдоль Байкала, ручеёк, бежавший прямо из горы в распутинском дворе, и самого Валентина Григорьевича с его простыми человеческими делами, которыми он занимался в тот день, и где у Байкала были свои заботы, а у Распутина — свои.

Байкальский день!

Ах, как он разгорался!

Ах, как он плавил слиток Ангары!

Его лучи оранжевою краской

Раскрашивали дачные дворы.

Его лучи — нектаром благодатным

Одаривали почки и цветы.

Из крепких ульев

Над селом нарядным

Летели пчёлы в дачные сады.

Байкальский день. Натянута верёвка.

Хозяйки сушат дачное бельё.

Дотошный день. Посажена морковка,

Чтоб дети летом хрумкали её.

*В искрящемся, ликующем затоне
Байкальский лёд на иглы разделён,
И у Байкала тянутся ладони
Осыпать мир холодным хрусталём.*

*Мне кажется, Вселенную разбудит
Гремучая байкальская волна...
В тугую грядку Валентин Распутин
Бросает золотые семена.*

*Он Слово Вдохновенное посадит,
Которое не зарастёт быльём...
Хорошей жатвы,
Мудрый наш писатель,
Тебе в байкальском домике твоём!*

Осень 1997 года сохранилась в моей памяти навсегда.

От моего дома до Хамар-Дабана ширился Байкал, ровный и спокойный, в нём спала ясная небесная бирюза. Ощущение было такое необыкновенное, что казалось, будто небо и Байкал поменялись местами. Природа, словно обманутая, подкидывала мне во двор свои волшебные подарки. Видимо, ничего не понимая, что с ними происходит, заново расцвели одуванчики, жарки и колокольчики, загорелся малиновым пламенем багульник. Трава и не думала жухнуть и желтеть, а напротив, зеленела даже на дорожках. Хотя ночью, украдкой, по щекам распадков ударяли первые морозцы, и щёки-склоны начинали краснеть, пламенеть, будто стесняясь, что сладко спали и прокараулили появление резвых ночных разбойников.

Я приехал на дачу копать картошку, рассчитывал прожить на Байкале три дня, а прожил целый месяц.

Это была моя байкальская “болдинская осень”.

Когда я уже дописался до ручки, со мной произошло невероятное. Шла последняя неделя моего пребывания на Байкале, и тут в одну из ночей на даче приключилась довольно странная история. В очередной раз я работал до двух часов ночи. Дописал стихотворение “Флоксы”, отложил в сторону бумагу и ручку, расстелил постель и лёг поспать. Более того, в кромешной темноте прямо над собой я услышал долгий, воистину живой звук натянутой струны. Звук был не громкий, но очень тревожный. Прошло полминуты, снова раздался звук струны, потом ещё и ещё, раз за разом чудились мне невероятные, странные, медленно уходящие в темноту звуки. Я поднялся с кровати, звуки продолжали являться из ниоткуда и тревожить всё моё существо. Неужели, думаю, я схожу с ума? Дописался. А струна продолжала звучать.

Тогда я встал, вышел на улицу и стал искать эту непостижимо звучащую субстанцию. Было тихо, даже Байкал едва шелестел в тёмном космическом пространстве. Может быть, это гудит берёза, которая прижалась к распутинскому флигельку, или позванивает сам флигельк, вспоминая неторопливого хозяина, его шаги и слова. Послушал берёзу, потрогал её. Но берёза молчала. Флигельк тоже не издавал ни звука.

Я ведь вправду, как полоумный, стал исследовать всю проволоку, какую подвешивал на гвоздь, вбитый в стену дома возле мастерской. Но это же не струна, а свёрнутая в мотки проволока. Как она может звучать?

Полежав ещё минуты три, я встал, включил свет, сел к чистому листу и почти без помарок написал стихотворение:

*Я ночью, пробудившись ото сна,
Лежу один во тьме несокрушимой.
В ночи звучит негромкая струна...
Откуда этот звук непостижимый?*

*Быть может, это Ангелы во тьме,
Создателем отпущенные к миру,
В предутренней осенней кутерьме
Несут мою истерзанную лиру.*

*А может, это у меня Господь
С души покровы тёмные срывает.
Наверно, Он, обретший кровь и плоть,
Струну небес негромко задевает.*

*А может, сон царапает сосна?
Поводит ворон крыльями из жести?
Наверно, эта странная струна —
Забывших предков тайное известье.*

*Их слово заповедное — во мне,
Их вера мне передалась в наследство.
Вновь наяву, а может быть, во сне
Под звук струны я проживаю детство.*

*И кажется — расходится стена,
И светлячками бездна расцветает.
Звучит над бездной вещая струна,
И над струною Ангелы летают.*

В пятом часу утра я лёг спать. Уронил голову на подушку, прислушался. Струна перестала звучать, и я с облегчением заснул.

Прошла неделя. Я вернулся домой, вывез картошку и успел на наш знаменитый праздник русской духовности и культуры “Сияние России”. В доме литераторов мне случилось прочитать несколько стихотворений, среди которых была и “Струна” – гостям праздника и Валентину Распутину, который вёл в Доме литераторов вечер встречи. После того, как закончился вечер, Валя похвалил меня за стихи и подарил только что изданную книгу “В ту же землю”.

Эта книга и особенно одноимённый рассказ потрясли меня настолько, что я долго ходил с кровоточащим сердцем и не мог найти покоя несколько дней. Каким же надо обладать даром, какой несоизмеримой ни с чьей болью за своё Отечество и каким пронзительным чувством сопереживания с родной землёй и её людьми, чтобы так горько, так больно рассказать о происходящем с нами и со страной!

И ещё меня поразила необыкновенная рассказ-загадка “Видение” о звучащей тёмными, осенними ночами струне, которая, по всей вероятности, являлась совестливому писателю для осмысления душевных болей и тягот, для постижения нашего несовершенного бытия на увенчанной Господними красотоми, но истерзанной русской земле.

“Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну, и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдёт, отзвучит одна волна, одноголоса, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днём, а днём этого не бывает. Я отчётливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом, на столике, – достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызывающийся, неведь откуда берущийся, неведь что говорящий сигнал завораживает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всём остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше? Что это? – или меня уже зовут?..”

А какая в рассказе, как будто кистью художника и одновременно словами поэта явлена картина осени, описание которой во всей её совершенной красоте подвластно было разве что Александру Сергеевичу Пушкину! И, наверно, не случайно здесь упомянута строка из его стихов:

“Люблю и я “пышное природы увяданье”... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выстывать под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчётливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — всё в разноцветном наряде, и всё хорождается, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И всё роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. “Бабье лето” теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре ещё зелено, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем приготавливается без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным сеевом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трёпок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся уже и полуобмершая. Остывающее солнце ещё пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выкланиваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, тенётся высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревням стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледнейшим заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное...”

Это был самый короткий во всём творчестве Распутина и, действительно, самый мистический, глубокий рассказ, где писатель перемещается в пространстве и во времени таким образом, что видит себя в себе и тут же наблюдает себя со стороны. В то же время он размышляет о происходящем реально, спокойно и даже буднично, как может писать только Валентин Распутин:

“В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это моё имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черёд. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл её, всё существо моё умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои всё чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и всё, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными слезами, что готов был раствориться в нём вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолётного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставшихся от тиск в душе, — не знаю. И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней — дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса

и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за неё. Моё место у окна в низком лёгком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе. . .”

Через несколько дней мы ехали с Валею на его дачу, что расположена на 28-м километре Байкальского тракта, и заговорили о струне.

— Валя, как же так случилось, что мы почти в одно и то же время написали об одном и том же?

Валя улыбнулся и, как всегда, легко отшутился:

— В этом виноваты наши жёны!

Может быть, это и так. Но я-то думаю, что не случайно мне так легко пишется в распутинском доме. Многое в этих стенах и во дворе мне напоминает о нашем давнем совместном бытовании то весенними, то летними днями, а то и скороспелой осенью. Вот рябинка, которую он посадил. А вот скамеечка между двух лиственниц, тоже сделанная его руками. Рябинка за эти годы вытянулась и превратилось в высокое, с кистями красных ягод дерево. А одна ветка изогнулась таким образом, что ушла в сторону от материнского ствола и распласталась над скамейкой, засыпая её по осени длинными, узкими багряными листьями. Здесь он любил сидеть вечерами с кружкой горячего, до черноты заваренного чая и долго, неотрывно смотрел на Байкал, поднимающий свои валы, как живые мысли. В этом доме Валя во всём, куда ни глянь! Его мистическое присутствие, его дыхание, человеческое тепло и сила таланта — они, несомненно, какой-то осязаемой частью живут в его бывшем доме.

Я это знаю, я верю в это.